

Юлия Николаевна Ковалевская<sup>1</sup>

tupa67@mail.ru

## РАБОТА ПАМЯТИ: НАРРАТИВЫ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ О 1990-х гг. В КРАТКОВРЕМЕННОЙ И ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Цель статьи заключается в выявлении разницы в характере исторической памяти дальневосточников о 1990-х гг. в кратковременной и долгосрочной перспективе. Использована методология «Trauma studies». Для обоснования применимости этой методологии к российским реалиям 1990-х гг. приведены данные социологических опросов ФОМ и региональных исследователей, а также анализ работ, касающихся постсоциалистических стран Восточной Европы, за которыми закрепилось название «Зона травмы» (Trauma Zone). Источниками для выявления кратковременной памяти послужили письма за 1991—2000 гг., для исследования более поздних нарративов — сочинения и интервью, собранные в 2012—2013 гг., а также современные СМИ и художественные произведения. Анализ показал, что травматические переживания имеют тесную связь с соматикой, соматические ассоциации (голод, холод, страх, чувство дезориентации) прочно закрепляются в памяти и их труднее всего преодолеть, несмотря на усилия официальной пропаганды или конкурирующих идеологий. Кратковременная память имеет не информативный, а перформативный характер, т.е. как только человек опомнился от первого шока и осознал ситуацию как угрожающую выживанию, он даёт себе мотивирующую установку к немедленному действию. Нарративы, созданные непосредственно в 1990-е гг., демонстрируют эту неразрывную связку «травматический вызов — перформативный ответ». Переработка индивидуальной травматической памяти (аффекта) в коллективную (сентимент) включает несколько этапов: отрицание проблемы и нормализация ситуации; осознание проблемы и её обсуждение в группах с общим опытом; выработка коллективных форм репрезентации травмы; социальный раскол/консенсус по поводу жертв и способов материальной и символической компенсации; мемориализация в искусстве. В российском и дальневосточном обществе применительно к травмам 1990-х гг. этот процесс находится в самом начале. Проработка подменяется официальным осуждением этого периода, исходящего от его главных бенефициаров, и проявлениями нарративного фетишизма разной степени талантливости в виде текстов и фильмов о «бандитском крае».

**Ключевые слова:** 1990-е гг., Дальний Восток России, историческая память, культурная травма.

<sup>1</sup> Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, Владивосток, Россия.

Yuliya N. Kovalevskaya<sup>2</sup>

tupa67@mail.ru

**THE WORK OF MEMORY:  
NARRATIVES OF THE FAR EAST CITIZENS ABOUT THE 1990s  
IN THE SHORT AND LONG TERM**

The purpose of the article is to identify the difference in the nature of the historical memory of the Far East about the 1990s in the short and long term. The methodology of “Trauma studies” was used. To substantiate the applicability of this methodology to the Russian realities of the 1990s, the data of sociological surveys of the FOM and regional researchers, as well as works concerning the post-socialist countries of Eastern Europe, which were assigned the name “Trauma Zone”, are given. The sources for identifying short-term memory were letters from 1991—2000, and for analyzing later narratives — essays and interviews collected in 2012—2013, as well as modern media and works of art. The analysis showed that traumatic experiences have a close connection with somatics, somatic associations (hunger, cold, fear, a sense of disorientation) are firmly fixed in memory and are most difficult to overcome, despite the efforts of official propaganda or competing ideologies. Short-term memory is not informative, but performative, i.e., as soon as a person comes to his senses from the first shock and realizes the situation as threatening survival, he gives himself a motivating attitude to immediate action. Narratives created directly in the 90s demonstrate this inextricable link “traumatic challenge — performative response”. Processing of individual traumatic memory (affect) into collective (sentiment) includes several stages: denial of the problem and normalization of the situation; awareness of the problem and its discussion in groups with common experience; development of collective forms of representation of trauma; social split/consensus about victims and ways of material and symbolic compensation; memorialization in art. In Russian and Far Eastern society, in relation to the injuries of the 90s, this process is at the very beginning. The elaboration is replaced by an official condemnation of this period coming from its main beneficiaries and manifestations of narrative fetishism of varying degrees of talent in the form of texts and films about the “bandit land”.

**Keywords:** 1990s, Russian Far East, historical memory, cultural trauma.

**П**редметом статьи является анализ писем и воспоминаний дальневосточников, относящихся к 1990-м гг., и выявление разницы между кратковременной и долговременной памятью об этом периоде.

Морис Хальбвак впервые концептуализировал различия между личной (автобиографической) и коллективной памятью, с одной стороны, и историей (исторической памятью), с другой. Он рассматривал коллективную память как память определённой группы, часть её обыденного сознания и традиции. История же, с его точки зрения, — это официальная память государства

<sup>2</sup> Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia.

(нации), часть политического дискурса, которая отражает разрыв традиции и интересы новых поколений: «Коллективная память не совпадает с историей и ...выражение „историческая память“ выбрано не очень удачно, потому что оно связывает два противоположных во многих отношениях понятия. История — это, несомненно, собрание тех фактов, которые заняли наиболее важное место в памяти людей. Но, будучи прочитанными в книгах, изучаемыми и заучиваемыми в школах, события прошлого отбираются, сопоставляются и классифицируются, исходя из потребностей или правил, которые не были актуальными для тех кругов, которые долгое время хранили живую память о них. Дело в том, что история обычно начинается в тот момент, когда заканчивается традиция, когда затухает или распадается социальная память» [8].

Особое место в научной литературе занимает научная школа, связанная с анализом исторической памяти о травматических событиях — войнах, революциях, геноциде и других массовых бедствиях, получившая название «Trauma studies». Американская исследовательница М. Хирш ввела в научный обиход понятие постпамяти, представляющее собой опыт и практики «принятия прошлого» младшими поколениями от старших. Она использовала этот термин при изучении потомков жертв Холокоста, которых назвала «поколением постпамяти» [16]. М.М. Степанова в романе-эссе «Памяти памяти» [7] предлагает собственную интерпретацию феномена постпамяти — как влияющий на детей травмирующий опыт родителей, проецирование прошлого на настоящее, замещение реальной жизни иллюзорным прошлым [14, с. 111]. Данная трактовка в последующем используется и другими исследователями.

Наиболее близкими к травматической парадигме исследований исторической памяти применительно к России являются книги А. Эткинды «Кривое горе» (2016) [13] и Н.В. Эппле «Неудобное прошлое» (2020) [12], хотя они посвящены в основном сталинской эпохе и анализируют работу именно с долговременной памятью, преимущественно с её коллективными формами и связанными с ними институтами. А. Эткинды использует концепты «работа горя» и «культурная память», чтобы показать способы проработки травматического опыта. Травма — состояние самого субъекта, а горе — это реакция на травму (смерть) другого. Между этими двумя состояниями должна лежать определённая историческая дистанция. «Работа горя» заключается в познании (расследовании) и возмездии (правосудии). Таким образом память переводится из режима навязчивого повторения травматического опыта (социальный невроз) в чистое воспоминание (мемориализация) [5, с. 299].

По мнению Н.В. Эппле, ключевыми элементами наиболее эффективного сценария работы с «трудным прошлым» должны стать следующие: подведение черты под этим периодом; индивидуальная работа с семейной памятью как модель для аналогичных процессов в общенациональном масштабе; принятие ответственности за прошлое страны, включающее осуждение его тёмных страниц и благодарность за светлые; создание отечественного аналога Комиссии правды и примирения (Испания) и разработка инфраструктуры, необходимой для запуска этой работы [14, с. 113].

Рассмотрение исторической памяти о 1990-х гг. в парадигме «Trauma studies» прежде всего требует ответа на вопрос: «А была ли травма?»

Действительно ли 1990-е гг. оставили в памяти россиян негативный след и опыт пережитого насилия, хотя бы в какой-то степени сравнимый с опытом других массовых катастроф XX в.?

Следует сказать, что определение слома социалистической системы как «травмы» является общепризнанным в исследованиях постсоветского пространства и бывшего социалистического лагеря, т.е. стран Восточной Европы. основоположником «травматического» дискурса применительно к рыночной трансформации Польши и других стран Восточной Европы является П. Штомпка [10]. Он выводит свою концепцию «культурной травмы» по аналогии с понятием «структурного напряжения» Н. Смелзера. Травматическая ситуация (событие) может быть определена как состояние напряжения, связанное с конкретными социальными изменениями. Структурное напряжение возникает, когда «расшатываются» важные аспекты социальной системы. Войны, экономические кризисы, природные катаклизмы и изменения в уровне техники нарушают привычный ритм жизни и вмешиваются в традиционные модели деятельности людей. Постепенно напряжение усиливается, и индивиды становятся всё более восприимчивыми к моделям поведения, не предусмотренным действующими институциональными системами. Люди переживают «социальное недомогание» — постоянное чувство внутреннего неудовлетворения. Травма обычно коренится в реальных феноменах, но не проявляется до тех пор, пока её не увидят и не дадут ей некое определение [17].

Штомпка обращает внимание на то, что даже успешные и объективно полезные реформы 1990-х гг. могут на субъективном и групповом уровне переживаться как травма. «На общем фоне по-разному переживаемых культурной амбивалентности, подвижек возникли потенциально травмирующие факторы. Вот некоторые из них. 1. Безработица, неизвестная в коммунистический период. 2. Высокая инфляция — 35—40% в год. 3. Резкое падение уровня жизни. 4. Переворот стратификационных иерархий и деградация ранее привилегированных групп. 5. Временный крах правоохранительных учреждений. 6. Интенсивный приток иностранцев через границы в „немецкое Эльдorado“. Безработица, инфляция, преступления и т.д. становятся травмами, если конкретные группы их определяют как таковые и эти определения через СМИ входят в общественные дебаты, в идеологию партий и движений. Являются ли события травмирующими или нет, зависит от референтной рамки. Событие (ситуация) становится полной травмой, чем-то разрушительным, шокирующим, болезненным лишь по отношению к нормам, стандартам упорядоченности. Факты фильтруются символическими, разделяемыми коллективом (т.е. культурой) линзами. У польской культуры богатые ресурсы позитивной интерпретации последствий краха коммунизма и объяснения, рационализации, ослабления воздействия неблагоприятных, потенциально травмирующих событий, как неизбежных, но временных „проблем переходного периода“, как должной цены большой победы» [9, с. 7].

Сходной концепции придерживается Иван Крастев, председатель Центра либеральных стратегий в Софии (Болгария): «Посткоммунистическим обществам удалось мирно преобразовать коммунистическую систему,

построить демократические и рыночные институты, создать экономическое благосостояние и, наконец, войти в состав Европейского Союза. В то же время переход привёл к быстрой социальной стратификации, серьёзно ухудшив положение многих и возвысив немногих. Многие жизни были поломаны, многие надежды преданы во время перехода. К концу 1990-х гг. типичным самоубийцей в Польше был не подросток, переживающий экзистенциальный кризис, а женатый мужчина около сорока, живущий в одном из бесчисленных городков или сёл, где банкротства государственных предприятий и ферм в сочетании с крахом старой системы социального обеспечения вызвали особенно острое отчаяние» [3, с. 84].

Определение посткоммунистических стран в 1990-е гг. как территории травмы настолько широко укоренилось, что в 2022 г. даже вышел многочасовой документальный фильм BBC “Trauma Zone” [18].

Социологические опросы и исследования в региональном и общероссийском масштабе подтверждают, что опыт 1990-х гг. большинством респондентов оценивается как негативный и травматичный. Так, анкетирование 154 респондентов в Санкт-Петербурге и Ленобласти, проведённое в 2017 г., показывает, что «ассоциации респондентов, связанные с 1990 гг., имеют наиболее негативную окраску по сравнению с ассоциациями, связанными с другими историческими периодами — СССР и современностью. Наиболее часто встречающиеся ассоциации с 1990 гг. являются негативно окрашенными у обеих возрастных групп респондентов: „беспорядки“ — у младшей возрастной группы и „разруха“ — у старшей возрастной группы. Это свидетельствует о том, что эпоха 90-х осталась в памяти нескольких поколений как тяжёлое, „смутное“ время» [6, с. 84].

В опросе ФОМ сентября 2015 г. участников попросили припомнить, что в России в 90-е гг. изменилось к лучшему, а что — к худшему. «Только 7% опрошенных назвали исключительно позитивные изменения, не ответив при этом на второй вопрос — об изменениях негативных. Назвавших же только негативные перемены оказалось несравнимо больше — 41%. Ещё 26% респондентов смогли припомнить перемены как к лучшему, так и к худшему, и столько же — 26% — не ответили ни на один из открытых вопросов. Распределение оценок очень сильно зависит от возраста опрошенных: молодёжь (которая не помнит 90-х) чаще считает, что в 90-е гг. страна изменилась к лучшему; старшие поколения довольно твёрдо придерживаются противоположного мнения» [2].

Консенсус относительно характера и результатов 1990-х гг. в российской истории и социологии не сложился, напротив, он носит следы давления «сверху», противодействия разных групп интересов и общественного раскола, который обозначают как «политика памяти» и «войны памяти». Вадим Волков (ВШЭ) на конференции, посвящённой этой проблематике, отметил, что «политика памяти по отношению к 90-м имеет неограниченные возможности. Исследовать формирование памяти о тех годах, не покинув их, — это значит исследовать формирование исторического опыта в реальном времени. В этом, наверное, состоит главный вызов...» [11].

Исследования исторической памяти о 1990-х гг. опираются в основном на воспоминания, интервью, мемуары, записанные постфактум, много лет

спустя. Ранее автор данной статьи считала интервью и другие полевые материалы первичными источниками, дающими максимальное приближение к эпохе в её непосредственном, обыденном и индивидуальном восприятии. Однако исследование комплекса писем (343 шт.) и дневника, относящихся непосредственно к периоду 1987—2000 гг., показало, что прежние полевые материалы — это уже литература, результат большой индивидуальной и коллективной работы с памятью. Сравнение исторической памяти с расстояния «несколько дней» и «несколько десятков лет» показывает совершенно разные результаты.

Непосредственная память о травматических событиях (далее — Память 1) через ассоциации связана с телесностью и предметным окружением. Память 1 — это часть индивида, как тело. Она проявляется в неконтролируемых воспоминаниях (аффект). Характер такой памяти не информативный, а перформативный. События, представляющие прямую угрозу выживанию, не записываются в назидание потомкам, а требуют немедленных действий.

Память 1 тесно связана с соматикой, именно поэтому, пока живы люди, лично пережившие опыт физического насилия, голода, унижения, никто не убедит их в том, что 1990-е гг. — это время побед и свершений.

Негативные соматические ассоциации переполняют письма и воспоминания о том периоде в собранных нами источниках. К примеру, вот упоминание в письме о родственнице, которая навестила сына в армии: «...Тётя Нина прилетела от Димы такая расстроенная: он такой худой, оборванный, простуженный, говорит, что живут хуже, чем в тюрьме — в голоде, холоде и совершенно бесправные» [19, письма, из г. Шахтёрска, о. Сахалин, 1992 г.]<sup>3</sup>.

Вот как дальневосточница вспоминает о тех условиях, в которых ей пришлось готовиться к своим первым родам: «Я рожала в Хабаровске, но почему я уехала в Хабаровск? Потому что я пришла сначала сюда. Вот тут он (роддом) прямо на Светланской... на Цирке... Мне, значит, говорят: „Мы не будем тебя ставить на учёт, потому что у тебя отрицательный резус, там куча всяких отрицательных диагнозов, тебе надо плановое кесарево, нам мертвецы не нужны, мы тебя даже не будем ставить на учёт“. Я говорю, ну и хрен с вами, подумаешь, но тем не менее через некоторое время пришлось лечь, потому что дело шло к родам. Родила я в феврале, а это был где-то январь. Ни света, ни воды, ни хрена, значит. А мне говорят: „Ничего не бойся, видишь — вон стоят подводные лодки в бухте? С них, если что, подключат электричество“... Классическая фраза, которая меня подорвала, после которой я уехала в Хабаровск: „Мы протянем, значит, электричество с огромной подводной лодки, у них там постоянный атомный двигатель, видишь, у нас протянут кабель, и поэтому, даже если выключат свет, у нас всегда режимный генератор с атомной подводной лодки. Протянем, значит, из бухты“. Вот и это меня подорвало, думаю: „Ну, ёлы-палы! Вдруг она отойдёт от причала?“» [19, интервью, А 100].

В приграничных районах — на Сахалине, Камчатке, во Владивостоке — новая «открытость» воспринималась как «грязная» и «опасная».

<sup>3</sup> Здесь и далее в приведённых фрагментах писем сохранены орфография и пунктуация оригинала.

«До Перестройки город Владивосток... был закрыт от других стран и даже от других городов России. В отличие от других городов, он был спокоен и чист... В Перестройку город открыли для посещения как граждан страны, так и иностранцев. Люди стали выезжать в город в надежде на заработок, он стал грязным» [19, сочинения, 19].

Вот как проявляется связка «негативный соматический вызов — перформативный ответ» в письмах:

*Вызов:* «Хуже всего добираться — замёрзнешь на остановке, затолкают, то дверью прищемит, то стукнут, то на ногу наступят — кошмар».

*Ответ:* «Высылай сапоги — пешком буду ходить...» [19, письма, из г. Владивостока, январь 1993 г.].

*Вызов:* «Все притихли или вернее замерли, что будет дальше, никто не знает».

*Ответ:* «Но всё равно уезжать нужно, здесь делать нечего...» [19, письма, из г. Углегорска, о. Сахалин, июль 1998 г.].

Наличие быстрого перформативного ответа не означает, что предполагаемое действие действительно осуществится. В данных ситуациях этого не произошло. В первом случае автор не перестала ездить в общественном транспорте, а просто уволилась с нелюбимой работы. А во втором — автор письма до сих пор живёт в г. Углегорске, в возрасте 88 лет. Перформативный ответ — это психологическая реакция на травматический опыт и одновременно начало работы с ним.

Перформативный ответ — это не только прямое действие, но и более общая мотивирующая установка на сопротивление: «Сейчас время лихое — 93 г. Обещают ещё хуже — надежда только на самих себя — на разум и труд. У нас на работе и в быту одна нервозность — надоело всё это — нужно что-то предпринять и руководствоваться при этом только своими интересами» [19, письма, из г. Шахтёрска, о. Сахалин, 13 января 1993 г.].

Лучший в коллекции автора статьи перформатив принадлежит её маме: «Говорят, билеты на самолёт подорожают. Но это ладно — куда ж мы денемся — назло рыжему Брысю будем летать, не глядя ни на что» [19, письма, из г. Шахтёрска, о. Сахалин, 25 марта 1992 г.]. Неизвестно, кто такой этот рыжий Брысь, но это очень вдохновляющий девиз для любой кризисной ситуации.

Более долговременная память, объединяющая воспоминания отдельных людей в коллективную память (Память 2), имеет нарративную форму. Она уже отделилась от своих телесно-эмоциональных (соматических) корней. Память 2 — не сам индивид, а то, что ему принадлежит. Состоит из отдельных маркированных капсул (типа систематического каталога). Воспоминание вынимается в соответствии с внешним стимулом, по запросу, и может согласовываться с коллективной памятью (сентимент). Переработка индивидуальной травматической памяти (аффекта) в коллективную (сентимент) очень похожа на проработку психологических проблем в группах людей, страдающих от одинаковых причин (например, группы взаимопомощи жертв семейного насилия или общества анонимных алкоголиков). Терапевтический эффект оказывает именно наличие людей с точно таким же опытом, как бы уязвимы и беспомощны они ни были каждый

по отдельности. Очень много значит возможность рассказать о своей беде тем, кто заведомо не осудит и не посмотрит на неё свысока.

Репрезентация травматической памяти имеет позитивное значение для общества. Коллективная память о травме, связанная с вытесненными чувствами обиды и гнева, порождает ресентимент, т.е. может обернуться новым кругом невротизации и насилия.

Стюарт Холл под репрезентацией имел в виду такой способ рассказа или показа чего-то, что символически оформляет произошедшее событие, находит язык для его выражения. Символы репрезентации могут иметь материальный (руины, памятник), визуальный (фильм, фото, татуировка) или вербальный характер (речь, текст) [15]. Городская среда в дальневосточной провинции — готовая репрезентация памяти о кризисе 1990-х гг. Отовсюду торчат мнемонические приёмы: разрушенные предприятия, школы, больницы. Они подкрепляют вербальные воспоминания такого типа: «Перестройка принесла безработицу, бардак, хамство, торгашей, развал всего» [19, сочинения, 57]. Своеобразной мемориализацией 1990-х гг. являются роскошные захоронения криминальных авторитетов на кладбищах дальневосточных городов, с одной стороны, и нежилые «города-призраки», с другой.

Проработка травматичной памяти включает несколько этапов, параллельных и на индивидуальном, и на коллективном уровне. Согласно концепции Доминика Ла Капры воспоминания бывают двух типов: воспоминания-отыгрывания (Acting-out) и воспоминания-проработка (Working-through) [4].

Воспоминание-отыгрывание воспроизводит схему психотерапевтической работы с травмой: «отрицание — гнев — торг — принятие» за исключением последнего этапа. Поэтому человек (общество) движется по невротическому кругу, не находя выхода. Именно этот тип воспоминаний порождает ресентимент — одержимость прошлым, ненаправленное чувство гнева и обиды, которое закрывает возможность развития и движения к будущему.

Отрицание — этап, когда человек боится бояться. Страх подавлен и не имеет языка выражения (кроме соматического). Мутизм — шоковое состояние, когда человек замыкается, замолкает и не имеет возможности произнести ни слова, т.е. происходит слом репрезентации.

Если же он и говорит, то отрицает проблему и стремится нормализовать ситуацию: «Ты обо мне не беспокойся — всё нормально со всех сторон» [19, письма, из г. Шахтёрска, о. Сахалин, 1 сентября 1996 г.]. Причём через 30 лет про это же время тот же человек говорит: «Руки и ноги я там отморозила. Не знаю, как я всё это стерпела, всю эту Хиросиму» [19, интервью, Е 002].

Если не говорить о чём-то страшном, о случившемся неожиданно для нас, сломавшем картину мира и полностью перевернувшем с ног на голову наше представление о том, что может вообще случаться, а что нет, — это чаще всего заканчивается коллапсом, эмоциональным, когнитивным или речевым. В этом смысле крик, плачь, ругань, чёрный юмор являются шагом вперёд в преодолении травмы.

Во время интервью, взятых в 2012 г., многие респонденты прямо говорили, что стараются никогда не вспоминать многие вещи, которые пережили

в 1990-х гг. И в то же время было видно, что в процессе интервью воспоминания в них как бы оттаяли и выговориться для этих людей — большое облегчение. При этом они используют язык 1990-х гг., с большим количеством молодежного сленга, уголовного жаргона и ненормативной лексики, перестроечного и рыночного новояза, но уже в отстранённом виде, как бы в кавычках среди обычного современного языка: «Едем на работу, на Борисенко посреди дороги жмурик лежит. Едем с работы — он так и лежит, уже снежком припорошило» [19, интервью, Е 001]. Попадают интересные оксюмороны: «Перестройка нового ничего не принесла, а только хуже стало... хорошо ухудшилась жизнь...» [19, сочинения, 8].

Гнев — реакция выживших, стремление избавиться от того, что гнетёт. Страх, боль, унижение выплескиваются изнутри наружу в виде вербальной агрессии. Это первый шаг отделения ситуации от человека. Начинается поиск виновных или собственной вины, стремление найти сочувствующих, разделить горе. Индивидуальное переживание становится коллективным, возникают стигматизированные группы с особыми типами идентичности (стигматизированная идентичность, идентичность сопротивления).

Приведём в качестве примера отрывок из письма, который показывает как соматическое измерение травматического опыта, так и реакцию на него — вербально выраженный гнев: «Я и не знала, что я способна так ненавидеть, как я ненавижу эту школу, дорогу на работу, вечную темноту, холод — идёшь, как в яму, ветер насквозь продувает, сапоги рвутся, у сумки отваливается ручка, варежка падает в грязь, утром будильник звонит — я встаю не в ту сторону, т.е. со всего размаха врезаюсь головой в стенку. Я думала, этот кошмар меня доконает. Весь мир против тебя — если закрываешь дверь шкафа — прищемишь палец, если нож острый — порежешься, если тупой — упадёт на ногу. Прямо наваждение какое-то» [19, письма, из г. Владивостока, 2 января 1993 г.].

Этап торга на личном уровне проявляется в том, что решается вопрос: насколько личность и ситуация должны уступить друг другу, чтобы смириться с новым качеством жизни и постепенно преодолеть травму. На коллективном — происходит борьба за социальное признание социальной травмы и восстановление в правах. Этот этап не бывает лёгким, поскольку официальное признание группы «жертвой» требует компенсации пострадавшим (хотя бы моральной), наказания виновных, средств на исправление ситуации. Чем более массовый характер травмы — тем меньше желание других её признавать. Отсюда же время, необходимое на признание социальной травмы, прямо пропорционально количеству пострадавших. Способы отрицания травмы всегда одинаковые: занижение ущерба, возложение вины на жертву, «расчеловечивание» и деиндивидуализация пострадавших, апеллирование к высшим целям (цель оправдывает средства), занижение числа жертв, обесценивание их опыта.

Автору статьи приходилось лично слышать от столичного эксперта, что никакой травмы 1990-х гг. у дальневосточников нет, потому что «не было даже массового голода, как в 1930-е». И всем приходилось многократно слышать и читать, что социальные проблемы на Дальнем Востоке нет смысла решать, а нужно его осваивать вахтовым методом.

Этап принятия соответствует воспоминанию-проработке. На индивидуальном уровне означает этап рационального осмысления (без эмоций) и примирения, а значит, и возможность преодоления ситуации. На коллективном уровне — достижение социального консенсуса по поводу пережитой травмы. Преодоленная травма у личности оставляет после себя чувство удовлетворения: «Что нового принесла в мою жизнь перестройка? Она научила меня жить и выживать; и я была молода» [19, сочинения, 18].

Принятие (проработка) всегда начинается с отделения личности от ситуации. Травма осознается не как часть личности, а как внешние обстоятельства, в которых оказалась личность. Постановка диагноза — условие возможности лечения. Воспоминания-проработка (Working-through) включают определённые этапы отделения от травматической ситуации: обсуждение в группе, дискуссия между группами, примирение позиций, выработка совместных символов.

Эрик Сантнер установил, что любые показания и мнемотехники, которые используют люди для того, чтобы свой прошлый болезненный опыт как-то описать, можно разделить на две большие части: это работа скорби и нарративный фетишизм. Работа скорби заключается в том, что любые страшные события надо каким-то образом вербализировать, обыгрывать или проработать [5]. Способы «работы горя» были описаны выше (см. Н.В. Эппле). Применительно к 1990-м гг. этот этап в общественном поле только начинается.

Нарративный фетишизм — обезвреженная память. Это такая репрезентация, которая отвлекает от ядра проблемы, драматизируя и экзотизируя её малозначительные части. На близкой дистанции работает под принуждением, на отдалённой — только в случае талантливости автора нарратива и при обязательной готовности общества к эмпатии. Эстетическая сублимация и эмпатия преодолевают социальный раскол, формируют социальный консенсус, способствуют выработке форм компенсации вреда для пострадавших и ритуализации скорби и покаяния.

Примером нарративного фетишизма являются «успешные рыночные реформы» в Англии, описанные Диккенсом в романе «Тяжёлые времена» (1854) и др. Все персонажи, которые, собственно, и были во главе построения свободного рынка и капитализма, изображены самыми чёрными красками, как жестокие, алчные, бездушные и человечески несостоятельные люди. Положительными же героями являются уходящие классы (леди и джентльмены) или прямые жертвы реформ, если использовать современную терминологию — те, кто «не смог приспособиться к рынку», «лузеры» и «нищоброды», их судьба описана с сочувствием и с фирменными диккенсовскими тяжеловатой сентиментальностью и гротескным юмором.

Ещё более яркий пример — художественный нарратив про победу демократического Севера над рабовладельческим Югом и его успешную капиталистическую трансформацию. Например, «Унесённые ветром» М. Митчелл. Это вторая по популярности (после Библии) книга в США. Миллионы потомков победивших северян и проигравших южан читают её с огромным удовольствием и сочувствуют не прогрессивным северным солдатам-янки и предпринимателям-саквоажникам, а совсем иным

героям-южанам — «белым рабовладельцам и расистам», становясь при этом не расистами, а более гуманными людьми.

Более близкий к российской истории пример — беспрецедентно популярный советский сериал «17 мгновений весны», экранизация одноимённого романа Ю. Семёнова. Нацистских преступников в этом фильме играли талантливые и всенародно любимые актёры — Л. Броневой, О. Табаков, Л. Куравлёв. Фашисты в их исполнении обладали индивидуальностью, сложной психикой и были показаны как живые люди с немалым личным обаянием. Само появление такого сериала и его успех свидетельствовали о том, что военная травма в общественном сознании была в значительной степени преодолена, а бывшие враги тогда уже не вызывали бескомпромиссной ненависти.

Характерно, что популярность этого сериала привела к появлению его иронического «двойника» — огромного цикла анекдотов про Штирлица, где обыгрывается известная парадоксальность этого произведения, его крайняя условность. Штирлиц — советский патриот и коммунист, который, собственно, ни одного дня не жил на родине при советской власти. С любимой женой он встречается один раз за 20 лет, где пять минут смотрит на неё с дистанции несколько метров. Он, конечно, ненавидит нацизм, но вся его повседневная жизнь проходит в окружении фашистов довольно высокого ранга, с которыми он поддерживает доверительные приятельские отношения. Идеальный коммунист живёт во вполне буржуазных комфортных условиях, да ещё и пользуется привилегиями, полагающимися высшим чинам СС и СД. Герою-подпольщику очень идёт нацистская военная форма, и вообще эстетика Третьего Рейха представлена в фильме весьма комплиментарно. В целом нельзя сказать, что при просмотре этого сериала зритель каждую минуту помнит, что эта война стоила нашей стране 27 миллионов жертв. Именно так и работает нарративный фетишизм: проблема описывается по принципу «слона-то я и не заметил».

Талант Ю. Семёнова проявился особенно ярко в том, что он не использовал классический приём для «маскировки слона» — любовную историю. Любовь на фоне катастрофы (войны, революции, мора) лучше всего отвлекает от шокового восприятия самой катастрофы и рождает у читателя чувство, что жизнь продолжается «и на камнях растут берёзы». Например, эту функцию она успешно выполняет в романе Ю. Бондарева «Берег», где разворачивается чистая любовь советского лейтенанта и немецкой девушки в только что взятом советскими войсками Берлине.

Применительно к 1990-м гг. нарративный фетишизм проявился во множестве фильмов и сериалов, где социальные проблемы (несправедливость, неравенство, слом социального государства) скрыты за авантурным, детективным и криминальным сюжетом. Классическими фильмами такого рода являются «Брат» (и особенно «Брат-2»), сериалы «Бригада», «Бандитский Петербург» и др.

Киноработы подобного рода снимались и на Дальнем Востоке. В фильме Виталия Каневского «Замри — умри — воскресни!» (1989), получившем специальный приз Каннского фестиваля, показаны Владивосток и Сучан — нынешний Партизанск — в жанре «чернуха». В этом кино дебютировала

Динара Друкарова, впоследствии сыгравшая в фильме Алексея Балабанова «Про уродов и людей». В 1990 г. выпускник Дальневосточного института искусств Геннадий Воронин снял во Владивостоке драму «Мария Магдалина». Муж главной героини, которую играет Лариса Гузеева, погибает в море, и она становится портовой проституткой. Созданный в 2004 г. в Уссурийске сериал «Спец» про перегонщиков машин и рэкетиров снял Виталий Дёмочка, сам имевший отношение к криминалу. Во Владивостоке также были сняты «Напарник» Александра Андрущенко с Сергеем Гармашем и Лизой Арзамасовой, «На районе» Ольги Зуевой с Данилой Козловским. Все эти фильмы наполнены мрачной брутальной эстетикой и штампами про мафию и криминал [1].

Таким образом, представление о «бурных девяностых» (они же «проклятые» или «святые») сложилось постфактум, в результате появления исторической дистанции.

Характер и результаты 1990-х гг. являются предметом острых дискуссий и полярных оценок. Однако этот резкий антагонизм сам по себе указывает на то, что выработано некое общее знание, в рамках и по поводу которого возможен спор. Антагонизм в оценках вызван политическими и идеологическими разногласиями представителей различных социальных слоёв и групп интересов. Современный дискурс 1990-х имеет отправной точкой нынешнее состояние российского общества. Зрелое состояние системы позволяет выявить все несущие элементы структуры в исторической ретроспективе, показать их зарождение и развитие.

При этом заметно, что оценка 1990-х гг. из 2023 г. сильно отличается от того, что эти же люди говорили в 1993 и 2013 г. Но главное — разные сами векторы стремления запомнить/забыть новости и события, их отбор/игнорирование, усилия по нормализации/драматизации пережитого опыта.

Таким образом, прослеживаются личные усилия по работе с памятью, которые можно определить как свободный выбор, многократное переопределение предложенных обстоятельств и своего места в них, оценка и переоценка результатов. Открывается «квантовый характер» памяти, её своеобразное коварство: медленные ежедневные изменения не воспринимаются как достойные запоминания и нравственной оценки, но через какое-то время становится очевиден огромный необратимый разрыв с прошлым и приходит понимание, что ты пережил его, как бы не приходя в сознание. Тут-то и возникает необходимость что-то сделать с памятью — забыть, идеализировать, экзотизировать, проклясть прошлое.

Главная разница в восприятии 1990-х гг. в момент кризиса и постфактум заключается в противоположных векторах оценки ситуации: в моменте это стремление к её нормализации, постфактум же она интерпретируется как экстремальная, выходящая за рамки нормы.

В целом в условиях кризиса память носит не информативный, а перформативный характер. Как только человек «опомнился», он даёт себе мотивирующую установку к действию. Первоначально сам факт выживания воспринимался как безусловное благо. Когда кризис остаётся позади, ситуация выживания вспоминается как достаточно травматичный опыт, и очень немногие скажут о нём: «Можем повторить».

ЛИТЕРАТУРА

1. Заяшников В. Топ 10 фильмов о Приморье: приключения будущего Штирлица, криминальный режиссёр и Лариса Гузеева в роли проститутки. 30.01.2019. URL: <https://www.dv.kp.ru/daily/26936.4/3986052/> (дата обращения: 12.05.2023).
2. Кертман Б. Образ 90-х в массовом сознании. URL: <https://fom.ru/blogs/12407?ysclid=lh5u83d5vx740507649> (дата обращения: 12.05.2023).
3. Крастев И. Странная смерть либеральной Центральной Европы // Прогнозис. 2007. № 3 (11). С. 79—87.
4. Мороз О. Репрезентации коллективной травмы. URL: <https://postnauka.ru/video/72670> (дата обращения: 12.05.2023).
5. Романенко М.А. Рецензия на работу: Эткинд А. Кривое горе: память о непогребённых. М.: Новое литературное обозрение, 2016. 328 с. // Новое прошлое. 2016. № 4. С. 296—302.
6. Синельникова Е.С., Зиновьева Е.В. Историческая память о 90-х годах XX века в России: психологические аспекты // Вестник Московского университета. Сер. 14: Психология. 2018. № 4. С. 74—88.
7. Степанова М.М. Памяти памяти. М.: Новое издательство, 2017. 408 с.
8. Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2. URL: <https://magazines.gorky.media/nz/2005/2/kollektivnaya-istoricheskaya-pamyat.html> (дата обращения: 12.05.2023).
9. Штомпка П. Культурная травма в посткоммунистическом обществе // Социологические исследования. 2001. № 2. С. 3—12.
10. Штомпка П. Социальное изменение как травма // Социологические исследования. 2001. № 1. С. 6—16.
11. Шурмина Н. Эпоха 90-х сквозь призму политики памяти. URL: <https://yeltsin.ru/news/epoha-90-h-skvoz-prizmu-politiki-pamyati/?ysclid=lh5tnmil3f494210941> (дата обращения: 12.05.2023).
12. Эппле Н.В. Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах. М.: НЛО, 2020. 321 с.
13. Эткинд А. Кривое горе: память о непогребённых. М.: НЛО, 2016. 328 с.
14. Ядова М.А. Рецензия на книгу: Эппле Н.В. Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах. М.: НЛО, 2020. 321 с. // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология: Реферативный журнал. 2022. № 4. С. 109—114.
15. Hall S. The Work of Representation // Representation: Cultural Representations and Signifying Practices / Ed. by S. Hall. London, 1997. 76 p.
16. Hirsch M. The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture after the Holocaust. New York: Columbia University Press, 2012. 320 p.
17. Smelser N.J. Theory of Collective Behavior. New York: Free Press of Glencoe, 1963. 436 p.
18. Trauma Zone: Russia 1985—1999. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=u9EX-t3JJg> (дата обращения: 12.05.2023).
19. АОСПИ. Архив отдела социально-политических исследований. Сочинения. Интервью (2012—2013). Письма (1991—2000).

REFERENCES

1. Zayashnikov V. *Top 10 fil'mov o Primor'e: priklyucheniya budushchego Shtirlitsa, kriminal'nyy rezhisser i Larisa Guzeeva v roli prostitutki* [Top 10 Films about Primorye: the Adventures of the Future Stirlitz, a Criminal Director and Larisa Guzeeva as

- a Prostitute]. 30.01.2019. Available at: <https://www.dv.kp.ru/daily/26936.4/3986052/> (accessed 12.05.2023). (In Russ.)
2. Kertman B. *Obraz 90-kh v massovom soznanii* [The Image of the 90s in the Mass Consciousness]. Available at: <https://fom.ru/blogs/12407?ysclid=lh5u83d5vx740507649> (accessed 12.05.2023). (In Russ.)
  3. Krastev I. Strannaya smert' liberal'noy Tsentral'noy Evropy [The Strange Death of Liberal Central Europe]. *Prognosis*, 2007, no. 3 (11), pp. 79—87. (In Russ.)
  4. Moroz O. *Reprezentatsii kollektivnoy travmy* [Representations of Collective Trauma]. Available at: <https://postnauka.ru/video/72670> (accessed 12.05.2023). (In Russ.)
  5. Romanenko M.A. Retsenziya na rabotu: Etkind A. Krivoe gore: pamyat' o nepogrebennykh. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2016. 328 s. [Book Review: Etkind A. Warped Mourning. Stories of the Undead in the Land of Unburied. Moscow, NLO, 2016, 328 p.]. *Novoe proshloe*, 2016, no. 4, pp. 296—302. (In Russ.)
  6. Sinel'nikova E.S., Zinov'eva E.V. Istoricheskaya pamyat' o 90-kh godakh XX veka v Rossii: psikhologicheskie aspekty [Historical Memory of the 1990s in Russia: Psychological Aspects]. *Vestnik Moskovskogo universiteta*, ser. 14. "Psikhologiya", 2018, no. 4, pp. 74—88. (In Russ.)
  7. Stepanova M.M. *Pamyati pamyati* [Memory of Memory]. Moscow, Novoe izdatel'stvo Publ., 2017, 408 p.
  8. Khal'bvaks M. Kollektivnaya i istoricheskaya pamyat' [Collective and Historical Memory]. *Neprikosnovennyi zapas*, 2005, no. 2. Available at: <https://magazines.gorky.media/nz/2005/2/kollektivnaya-i-istoricheskaya-pamyat.html> (accessed 12.05.2023). (In Russ.)
  9. Shtompka P. Kul'turnaya travma v postkommunisticheskom obshchestve [Cultural Trauma in Post-Communist Society]. *Sotsiologicheskie issledovaniya*, 2001, no. 2, pp. 3—12. (In Russ.)
  10. Shtompka P. Sotsial'noe izmenenie kak travma [Social Change as Trauma]. *Sotsiologicheskie issledovaniya*, 2001, no. 1, pp. 6—16. (In Russ.)
  11. Shurmina N. *Epokha 90-kh skvoz' prizmu politiki pamyati* [The Era of the 90s through the Prism of the Politics of Memory]. Available at: <https://yeltsin.ru/news/epoha-90-h-skvoz-prizmu-politiki-pamyati/?ysclid=lh5tnmil3f494210941> (accessed 12.05.2023). (In Russ.)
  12. Epple N.V. *Neudobnoe proshloe: pamyat' o gosudarstvennykh prestupleniyakh v Rossii i drugikh stranakh* [An Inconvenient Past: Memory of State Crimes in Russia and Other Countries]. Moscow, NLO Publ., 2020, 321 p. (In Russ.)
  13. Etkind A. *Krivoe gore: pamyat' o nepogrebennykh* [Warped Mourning: Stories of the Undead in the Land of Unburied]. Moscow, NLO Publ., 2016, 328 p. (In Russ.)
  14. Yadova M.A. Retsenziya na knigu: Epple N.V. Neudobnoe proshloe: pamyat' o gosudarstvennykh prestupleniyakh v Rossii i drugikh stranakh. M.: NLO, 2020, 321 p. [Book Review: Epple N.V. An Inconvenient Past: Memory of State Crimes in Russia and Other Countries. Moscow, NLO, 2020, 321 p.]. *Social'nye i gumanitarnye nauki. Otechestvennaya i zarubezhnaya literatura*, ser. 11, "Sotsiologiya": Referativnyy zhurnal, 2022, no. 4, pp. 109—114. (In Russ.)
  15. Hall S. The Work of Representation. *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. Ed. by S. Hall. London, 1997, 76 p. (In Eng.)
  16. Hirsch M. *The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture after the Holocaust*. New York, Columbia University Press Publ., 2012, 320 p. (In Eng.)
  17. Smelser N.J. *Theory of Collective Behavior*. New York, Free Press of Glencoe Publ., 1963, 436 p. (In Eng.)
  18. *Trauma Zone: Russia 1985—1999*. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=u9EX-t3JJg> (accessed 12.05.2023). (In Eng.)